

*Н.Н. ЦВЕТАЕВА*

## **ОСОБЕННОСТИ БИОГРАФИЧЕСКОГО ДИСКУРСА СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ**

Анализ биографических нарративов, понемногу признаваемый в российской социологии [1], ориентирован на герменевтическую традицию (например, в таких ее вариантах, как диалогическая концепция М. Бахтина, герменевтика П. Рикера, семиологический подход Р. Барта и др.). Интерпретативный характер такого анализа означает, что нет установленной процедуры, которая задает направление поиску интерпретации биографических текстов, что информация и интерпретация идут параллельно, “рука об руку” [2, р. 247-250]. Однако можно утверждать, что в самом общем виде работа с нарративами предполагает прочтение текстов, “вживание” в их содержание и на этой основе вычленение “когнитивных фигур”, которые в свою очередь подвергаются многократному анализу в виде “герменевтического круга” [3]. Отчасти эта работа основана на стратегии “социальной этнографии” [4].

Методическим “ключом” данного исследования является характеристика биографического дискурса через смысловые структуры, которые образуются при анализе отношений между событийной канвой нарратива и оценочными суждениями, высказываемыми его автором. Речь идет не о референциальности истории жизни, а о том, как строится дискурс, каковы возможности автора осмысливать свою жизнь или, используя понятие П. Бурдьё, “практические схемы” мышления. Как и предполагает биографический метод, интерес прежде всего представляют диапазон и вариативность обнаруженных в текстах смысловых структур, “репертуар возможностей”, а не частота их обнаружения [5].

Уже в самом определении дискурса как коммуникативного акта и социального диалога [6, с. 121-122] содержится проблематика обусловленности временем – эпохой, в которой живут его участники. В нашем исследовании рассматривается биографический дискурс советской эпохи, насколько ее стереотипы и ценности укоренены в привычках и навыках осмысления авторами собственной жизни. Понятно, что язык советской эпохи развивался во времени, переживая соответствующие исторические этапы. Биографические нарративы дают возможность уловить, реконструировать эту историю.

В данной статье исследуется начальный этап формирования биографического дискурса советского времени. Проанализировано пять материалов из собрания Биографического фонда Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН<sup>1</sup>, относящихся к первому советскому поколению. Тот факт,

---

**Цветаева Нина Николаевна** – научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института социологии Российской академии наук **Адрес:** 198147 Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 14. **Телефон:** (812) 316-21-62. **Факс:** (812) 316-29-29. **Электронная почта:** olegbozh@hotmail.com

<sup>1</sup> Биографический фонд в секторе социально-культурных изменений Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН создан в 1989 г. В настоя-

что большая часть его представителей были по происхождению крестьянами, во многом определил схему анализа. Основное внимание уделено трансформации крестьянского мировосприятия под воздействием идеологии, адаптации крестьян к новому жизненному укладу, тому, в каких случаях и в каком виде идеологические формулы проникали в их мировосприятие и, по свидетельствам крестьян, в значительной степени сохраняются до сих пор, характеризуя традиционную компоненту социально-культурных изменений сегодняшнего дня.

Нарративы, написанные представителями первого советского поколения в 1990-е годы, сравнивались с созданными в прошлом и сохранившимися в форме дневников и других личных документов. Для анализа использовались также биографические нарративы, в свое время опубликованные в этнографических работах по крестьянству. Анализируемые нарративы демонстрируют социальную типичность "врастания" в идеологический язык и стандарты советской эпохи. Анализ дается в форме краткого пересказа биографических текстов с выделением фрагментов, характеризующих навыки их авторов осмысливать события собственной жизни. Фразы и выражения, которые помогают охарактеризовать лексическую специфику рассказов и подчеркивают присутствующий респондентам стиль, выделены кавычками.

#### **Жизненный путь и ... случай**

Первые признаки слияния крестьянской культуры и идеологического языка советской эпохи можно найти в автобиографии Алексея Рыбакова, написанной в 1924 и опубликованной в 1925 г. в сборнике "Революция в деревне", изданном по результатам этнографических экспедиций [8].

В "автобиографии" Рыбаков "(он же большевик Лукошкин, фамилию переменял в 1919 г.)" пишет, что "родился в 1894 году в бедной крестьянской семье". "Отец подрабатывал сапожным делом, пил, избивал детей". Девять недель Алексей Рыбаков проучился в церковно-приходской школе – "выучил 16 букв", а "с 1915 года по настоящее время" (то есть по 1924 г.) занимался самообразованием. Работал подмастерьем у отца, а с 13 лет – "у другого мастера доучивался". Затем работал "самостоятельно один год в семье отца". Так как "отец отказал в кормлении", уехал в Архангельск на заработки. "Из-за малолетства" работать на лесопильных заводах не мог, "пошел в услужение к попу".

С 1909 по 1911 гг. – "мытарства по лесопильным заводам". "Паспорту срок истек, на квартире не держат, домой ехать – денег нет на дорогу, так как при заработках на заводе я шел по стопам отца – пропивал все". "Пешим порядком домой" – 13 дней в пути.

В возрасте "17 лет, 8 месяцев" родители его женили – "невеста некультурная, издалека". "После брака скука, так как у меня детское на уме, брачная жизнь мне не нужна". "Пустился в пьянство до безумия" и через несколько месяцев оставил жену и снова отправился на заработки. Работал

позднее время он насчитывает около 300 биографических материалов представителей всех слоев общества. Некоторую часть фонда составляют биографические интервью [7, с. 71-73].

грузчиком, ломовым извозчиком. За пьянство выгонялся с работы. Какое-то время был безработным, пьянствовал ("ночлежки", "знакомство с преступным элементом"). После объявления войны с Германией был призван на военную службу, но забракован.

В марте 1915 г. уехал на Мурманскую железную дорогу. Сначала работал чернорабочим, затем был переведен в старшие рабочие. "Работал так до свержения самодержавия". В марте 1917 г. был "избран на железнодорожный съезд от всего участка", так как "рабочие меня любили".

Другой мотивации своего избрания на съезд, кроме вышеприведенной, каких-либо революционных убеждений А. Рыбаков не обнаруживает и даже особо подчеркивает это: "На съезде меня заклеили большевиком, хотя я и не знал еще, что за большевики". Большевистские убеждения появляются у него в результате разговора с "одним большевиком", который ему "все объяснил": "Ты – большевик, потому что тянешь за рабочих, да против министров". Этот, казалось бы, случайный разговор сделался поворотным в жизни Рыбакова: "Тут заела меня мысль – я стал ярым большевиком, и давай агитировать против учредиловки, против войны".

В этой части автобиографии Алексея Рыбакова удивляет отсутствие какого-либо содержательного мотива его обращения в большевистскую "веру". Его назвали большевиком, и он им стал. Можно, конечно, предположить, что легкость этого обращения предопределена маргинальным положением Рыбакова: разрыв с домом и крестьянским бытом и почти люмпенское существование. Но отсутствие какой-либо рефлексии по поводу произошедших с автором изменений подтверждается и последующим описанием собственной судьбы.

Вот как складывается жизнь Рыбакова после, как он пишет, "октябрьского переворота": "Организовал отряд Красной гвардии по обыскам и арестам, во главе которого был начальником; участвовал в разгроме белофинов; вернулся "на родину" и организовал там ячейки РКП(б) и комитетов бедноты; в сентябре на съезде избран председателем волисполкома; в октябре избран на съезд комитетов бедноты Северной области в Петроград; откомандирован ячейкой РКП в распоряжение Красноборской ЧК, где получил назначение комиссара Пинежского района; отозван временно и назначен предкомиссии по сбору революционного налога с буржуазии ("где через присвоение денег в сумме 1500 рублей секретарем Скриповым попал под суд как участник, судом в мае 1919 г. оправдан, а приговорен за халатное отношение к службе на один месяц, после чего вступил в ряды Красной Армии добровольцем"); выехал на польский фронт, заболел в дороге, получил отпуск на месяц; во время отпуска по определению РКП, с запроса Губчека направлен в Архангельск в особый отдел охраны северной границы Республики, где продолжал службу до августа 1921 г.; откомандирован по болезни и назначен начальником милиции одного из районов уезда по распоряжению укома РКП(б) до января 1922 г.; уволился по личному желанию и поступил разъездным инструктором РЗК до апреля 1923 г. "Был дальше безработным и больным". В октябре месяце 1923 г. "прошел на съезд членом ВИК", занимал должность председателя ВИК; 1 мая 1924 г. уехал в Архангельск, работал там 1,5 месяца и 10 июня 1924 г. поступил зав. избой-читальней, где и

нахожусь в настоящее время на своей родине, при своей семье – жена и дочь”.

В этой части автобиографии А. Рыбакова поражает не только то, что все перечисленные властные функции осуществлял человек, случайно попавший в большевики. Контраст между первой (добольшевистской) и второй (большевистской) частями жизни Рыбакова дополняется еще и контрастом между активной вовлеченностью его во властные структуры и “выпадением” из них, легкостью перехода от целого ряда председательских должностей к состоянию типа “был безработным и больным”, “попал под суд” и к должности заведующего избой-читальней. Все это излагается без какого бы то ни было мотивирующего объяснения, автор как будто не замечает контрастов и никак их не осмысливает.

Представляет интерес и лексика, с помощью которой Рыбаков описывает перемены в своей жизни. Употребляемые им глаголы и аббревиатуры в названиях органов послереволюционной власти создают ощущение действия какой-то разветвленной бюрократической машины, которая “отзывает”, “назначает”, “командирует” столь же легко, как и забывает о служащем, выбрасывая его из своих структур.

#### **“Переход в пролетарскую жизнь...”**

Предположим, что отсутствие объяснений и какой-либо рефлексии в изложении жизненного пути Рыбакова определяется не только спецификой его мировосприятия, но и неясными сегодня условиями написания и опубликования биографии. В этой связи рассмотрим биографический материал – дневник почти ровесника Алексея Рыбакова. Он родился в 1898 г., вел дневник с 1918 по 1938 гг. После гибели автора на войне материалы хранились у его сына, который в 1990 г. передал их в собрания Биографического фонда (БФ, № 8)<sup>2</sup>.

Дневник начинается с записи о мобилизации автора на Первую мировую войну и о скором комиссовании, так как он “был одинокий сын у отца и матери и притом – работы в крестьянстве было много и работать было некому”. Необходимость налаживать крестьянское хозяйство объясняет он и “нужду жениться” в феврале 1918 г. Об Октябрьской революции специальных записей нет, кроме одной, относящейся к марту 1918 г.: “Советская власть встала на возвышенность” и “на нее со всех сторон много врагов”, что является, видимо, свидетельством начавшейся гражданской войны.

В следующем фрагменте дневника автор пишет о тяжелой осени 1918 г. и о том, что “приходилось по силе необходимости всем крестьянам из-за недостатка своего хлеба ездить в хлебородные губернии”. В ноябре – новая мобилизация и предстоящая отправка на службу в Петроград. Но после “ходатайства писчебумажной фабрики” о том, чтобы мобилизованных рабочих уволили с военной службы для работы на фабрике (здесь выясняется, что автор является фабричным рабочим, о чем раньше не писал), он получает

<sup>2</sup> В скобках дается ссылка на Биографический фонд Института социологии РАН (Санкт-Петербург) и соответствующий номер единицы хранения.

увольнение со службы и работает плотником в строительном отделе. В это время его семья и родители по-прежнему живут в деревне и ведут крестьянское хозяйство.

В феврале 1919 г. автор опять признается годным к военной службе, но "по заимению рабочих фабрика стала на социализацию, то есть как на военное положение. Всех рабочих сосчитали, то есть поставили как красноармейцев по своим должностям и работам и принудили рабочих работать не просрочивая...". По многим записям в дневнике можно судить, что для автора работа на фабрике была временной и в определенной степени вынужденной (как уход от мобилизации и возможность поддерживать крестьянское хозяйство, которое вела оставленная в деревне семья).

После отмены "принудительного труда" (в феврале 1922 г.) автор дневника продолжает работать плотником, но на другой фабрике, где можно "заработать деньги, а не бесплатно работать". Однако и эта работа – лишь средство поддержания крестьянского хозяйства, которое остается для него главным интересом. Об этом свидетельствуют и довольно частые записи об "отлучках" с фабрики по разного рода нуждам крестьянского хозяйства (например, "напилить лесу для дома"), за которые он даже попадает под "дисциплинарный суд".

Но вот в дневнике появляется свидетельство о новых ценностях и представлениях автора: "В Советской стране нарождалась вредительская организация, которая мешала в социалистическом строительстве, которую рабочий класс во главе с партией в корне пресекли". Отчасти объяснить эти новые ориентиры, явно заимствованные из газет того времени, может следующая запись: "В период моей работы я выбирался членом рабочего комитета и на другие общественные организации и в то же время избирался как на районные, а также и областные съезды Советов и профсоюза, конечно, по моему активному участию в общественных организациях".

Итак, можно предположить, что пока автор "временно" работал на фабрике, чтобы поддержать свое крестьянское хозяйство, он начал приспосабливаться к новой жизни. Ценности двух его миров – фабрики и родной деревни – понемногу стали совмещаться. Своеобразие положения этого человека хорошо иллюстрирует следующая запись в дневнике: "Меня, как имевшего сельское хозяйство, поместили к увольнению, но я, будучи членом рабочего комитета, согласно закона не должен быть уволенным, на что я дал отпор". В основе описанного здесь конфликта (попытка уволить с фабрики) лежит осуждение советской идеологией рабочего, сохранявшего связи с крестьянской жизнью. Оно базировалось на представлении о превосходстве "чистокровного пролетария" над крестьянином вообще и крестьянином-рабочим, в частности. Свидетельства и иллюстрации этой идеологии можно найти в работе одного из первых исследователей биографий того времени Н.А. Рыбникова [9, с. 73].

Итак, в связи с угрозой увольнения перед автором стоял выбор между положением крестьянина и положением рабочего. Но он этого выбора не сделал, а лишь защитил свою возможность по-прежнему занимать промежуточное положение – крестьянина-рабочего. По всей видимости, на этом этапе ценность крестьянского хозяйства и привязанность к нему все еще несо-

мненны, несмотря на то, что автор уже “активно участвует в общественных организациях”. И только через год после этого конфликта он решает “превратить связь с сельским хозяйством и перейти в пролетарскую жизнь, то есть на производство по своей профессии, на которой проработал 14 лет”. Он сдает землю в деревне и перевозит семью к себе. Интересен факт, что, объясняя свое решение, этот человек руководствуется не новыми (“пролетарскими”) ценностями, а опять-таки соображениями здравого смысла – бедственным положением крестьянского хозяйства, которое уже не спасает работа на фабрике: “Хозяйство и семья состояли на моем иждивении, ибо хозяйство было очень бедное и кроме того мало было рабочих рук, а посему таковое себя не оправдывало. Мне приходилось весь свой заработок расходовать на сельхозналог, страховку и кроме того ежегодно покупать не менее 50 пудов хлеба”.

К сожалению, записи имели нерегулярный характер, поэтому нет возможности детально проследить, как шел процесс изменения мировосприятия у автора дневника. Однако в тех редких записях, которые следуют за решением о “переходе в пролетарскую жизнь”, он предстает приверженцем уже иных ценностей. Об этом свидетельствует описание служебной карьеры, перечисление всякого рода “произведенных” работ и соответствующих должностей: старший бригадир, десятник и т.д. А также последняя запись в дневнике, относящаяся к 1938 г.: “По решению Президиума Райисполкома 22.VII.38 переведен в РИК на должность заведующего отделом коммунального хозяйства и техники. Работа моя заключалась в следующем: руководить и контролировать”.

#### **Неумение жить (и мыслить) в “пустом доме”**

На смену ценностям крестьянской жизни приходит совсем другая реальность – списки должностей и возможности “руководить и контролировать”. Конечно, оба приведенных здесь биографических материала принадлежат людям, в определенном смысле сделавшим карьеру, во всяком случае, имевшим возможность “руководить и контролировать”. Для них должностная схема – существенный план жизни. Но дело не только в этом.

Появление списка должностей в биографических документах, написанных не по административному требованию (как это было при поступлении на работу в советское учреждение), и особенно в таком сугубо личном документе, как дневник, представляется важной характеристикой перемен в сознании авторов, ориентацией на ценности, ранее не свойственные крестьянской культуре. Осознание собственной значимости с помощью официальных идеологических критериев оказывается новой смысловой структурой человека послереволюционного общества, которая, как свидетельствуют биографические тексты, написанные десятки лет спустя, со временем укрепляется настолько, что может подавлять другие жизненные ценности.

Существует и еще одна особенность мировосприятия авторов приведенных жизнеописаний. Хотя автор дневника (в отличие от автора биографии) пытается как-то объяснить перемены в своей жизни, его объяснения в целом указывают на тот тип мышления, который психологи называют практическим, ситуационным, отличая его от теоретического, категориального [10,

с. 7-11]. Объяснения этого человека базируются на практическом опыте крестьянской жизни, в основе которой часто лежат довольно грубые реалии. Вот, например, как автор дневника описывает свой второй брак после смерти жены: "В семейном быте недовольствие, ибо всякая семейная жизнь не требует лишних иждивенцев, а у нас как раз наоборот мать жены и частично ее брат". Восприятие жизни через призму житейской необходимости проявляется даже тогда, когда автор дневника использует новую для него идеологическую лексику, что, казалось бы, предполагает умение выходить за пределы личного опыта.

Крестьянское мировосприятие как особый способ мышления и особую культуру весьма образно иллюстрирует отрывок из биографического интервью бывшего крестьянина (апрель 1990 г.; БФ № 40). Он так рассказывает о коллективизации в родной деревне и связанных с ней трудностях психологической адаптации крестьян: "Вот сейчас говорят, – "раскрестьянили народ". Его не "раскрестьянили", его просто-напросто убили в 30-ые годы. Ведь как крестьянину было оторвать от себя все: и движимое, и недвижимое, и живое, и мертвое? И остаться не у дел – в пустом доме? Чем жить, как жить, на что надеяться или верить? Ведь каждый дом, каждая семья сама, из своего хозяйства, решала, на что рассчитывать. Обувались, одевались, пили, ели исключительно деревней...".

Вот эти свойства крестьянского мировосприятия – неумение жить (и мыслить) "в пустом доме", отсутствие навыков отвлеченного мышления, ситуационная связанность сознания – отчетливо проявляются в биографических повествованиях бывших крестьян. Повествования свидетельствуют, что послереволюционные изменения и слом привычной самодостаточности крестьянской жизни не влекут за собой существенных перемен в мировосприятии. Адаптация этого слоя людей к новым культурным кодам осуществляется не через сознание, а через практику: они приспосабливаются к ним в силу необходимости выжить в трудных послереволюционных условиях. На сознательном уровне эти люди вообще не замечают альтернативного крестьянской культуре характера новых культурных кодов и осваивают их смысловые структуры по меркам и законам крестьянского мировосприятия. Можно сказать, что эти люди "врастают" в новую идеологию, по характеру мировосприятия в значительной степени оставаясь крестьянами.

Как известно, формирование советского общества не стало продолжением начавшегося задолго до революции и расшатавшего рамки традиционной крестьянской культуры процесса демократизации России, по определению С.Л. Франка, – влечения крестьянина к самостоятельности и самочинности [11, с. 215]. Новый порядок жизни нарушил эволюцию "самостоятельности и самочинности" крестьян, установив жесткий контроль над процессом их адаптации и тем самым законсервировав архаические черты их мировосприятия. Освоение бывшими крестьянами нового социального пространства ограничивалось узкими рамками политизированного участия в жизни общества. Лишившиеся прежних социальных связей и не имеющие навыков "самостоятельности и самочинности", они приняли предложенные формы жизнедеятельности как данность, как естественное условие выживания. На этом этапе новые культурные коды как бы наслоились на прежние, по существу

мало изменив их. Кроме того, эти люди, по образному выражению Г.И. Успенского, перешли из-под “власти земли” под власть “слова”. Трудности этого перехода также наложили отпечаток на их мировосприятие.

### **Жизнь “в пустом доме” и “вытравленность души”**

Как меняется мировосприятие рассматриваемого слоя людей со временем? Сравним биографические материалы, созданные в первые десятилетия после революции, как бы “по горячим следам” послереволюционных преобразований, с материалами сегодняшнего дня, содержащими своеобразные итоги усвоения бывшим крестьянином системы советских культурных кодов.

Приведенные выше биографические материалы свидетельствовали о людях, которые получили возможность “руководить и контролировать”. Однако существенно и то, что сам по себе факт переезда крестьянина в город ставил его в привилегированное (по сравнению с крестьянским) положение и влек за собой перемены в мировосприятии. Для иллюстрации этого утверждения рассмотрим биографическое интервью мужчины 1914 года рождения, по происхождению крестьянина, с 1932 г. жителя Ленинграда, участника войны, на момент интервью (апрель 1990 г.; БФ, № 40) – пенсионера.

Многие обстоятельства его детства типичны для выходцев из крестьянской среды. Трудовая, дружная, многодетная крестьянская семья; любовь к крестьянскому труду, привитая образом жизни и любимым дедом. С 9 до 12 лет учился в школе, но продолжить учебу – в ШКМ – не смог, так как не отпустил отец: был старшим сыном, а семье нужны были работники. С 12 лет “работал уже всюю”. “И такая жизнь продолжалась до 1928 года.” Началась коллективизация – “обобществление хозяйства”. “В 1931 году начали загонять в колхоз всех чуть ли не под пистолетом... Пришлось войти в коллективное хозяйство.” Осенью 1931 г., когда нужно было обобществлять скот, “тут море слез было. Столько слез я никогда не видел. Все отобрано. У нас оставили одну корову на 9 человек”.

Осенью 1932 г. его работа в колхозе и на лесозаготовках была прервана конфликтом с колхозным начальством из-за того, что в колхозе загубили обобщественного жеребенка. Грозил неприятности, надо было уезжать из деревни. И он уехал в Ленинград к дяде, который работал управдомом. Дядя помог устроиться учеником водопроводчика.

В 1936 г. он был призван в армию, “отслужил кадровую”. После службы “выучился на специальность” – стал электромонтером. “Немного прошло после учебы и загремел на Финскую”. В мае 1940 г. вернулся, но “через год и месяц началась Отечественная война. Опять в солдаты”. Попал в блокаду, защищал город, был добровольцем на “знаменитом Невском пятачке”. После прорыва блокады воевал в Прибалтике и Польше. Демобилизовался и “в канун 7 ноября 1945 года приехал в Ленинград”. Жить было негде, так как дом, в котором автор биографии жил до войны, был разрушен.

На этом периоде жизни (когда герою чуть больше тридцати лет) он неожиданно образом заканчивает свой (до этого довольно подробный) рассказ следующими фразами: “Что было делать? Надо было искать приют. И в 1946 году этот приют я нашел. Женился. Потом семья. Двое детей. Тяжелая тоже жизнь была. Ну, это все переживали после войны.” И здесь же подводит



итог: "Вот и вся жизнь моя. Вроде она и интересная, с перипетиями. Я иногда подумую: стоит ли человеку родиться, чтобы такую жизнь прожить? А ведь, может быть, в этой-то мельнице и жизнь вся?". Заключительные фразы неожиданно дают понять, что рассказчик, несмотря на свою любовь к крестьянской жизни, которая явствует из его повествования, значимой считает ту часть своего жизненного пути, ту "мельницу", которая сделала его участником социальных коллизий, "перипетий". С эмоциями и подробностями рассказывая о жизни в деревне, коллективизации, начальном периоде жизни в городе, об участии в войнах, он не считает нужным говорить о своей жизни после войны, потому что тяжелая жизнь, которую "все переживали после войны", по его мнению, обыденна и не представляет интереса.

В определенном смысле итог этого рассказа воспроизводит норму советской идеологии – ценность человеческой жизни прежде всего определяется ее социально-значимыми моментами. Эта норма тем или иным образом воспроизводится в биографических рассказах: и тогда, когда авторы приводят списки должностей, подтверждающих их социальную значимость, и когда стараются забыть о том, что им дорого, вписываются в существующий порядок, как это делает автор данного повествования. Подводя итог жизни таким образом, он не только не высказывается в пользу других смыслов человеческого существования, но и как бы зачеркивает, "забывает", несправедливость колхозного начальства, заставившую уехать из деревни и сломавшую его крестьянскую жизнь, к которой он "душой прикипел", и искалеченные судьбы оставшихся в деревне родителей, которые бедствовали всю жизнь после развала коллективизацией крестьянского хозяйства.

Здесь следует отметить еще одну характеристику мировосприятия этого человека. Несмотря на то, что смысл жизни оценивается им по меркам советской идеологии, рассказ оставляет ощущение трагической раздвоенности автора между его прежней, крестьянской, жизнью и той, которая ее сменила. С одной стороны, он хорошо понимает, что благодаря переезду в город сумел избежать тяжелой участи крестьянина и обрести привилегии городской жизни: "Город прельстил чистым хлебом, мясом, колбасой – всем, что твоей душе угодно". С другой – неоднократно высказывает сожаление по поводу судьбы крестьянства после коллективизации: "Вот я так иногда метнусь и в деревню, метнусь и в город, думаю: как же это так? Крестьянин работает и все это производит, а так плохо живет". Особым трагизмом наделены приводимые в интервью слова отца, оставшегося в деревне после "обобществления хозяйства": "У меня душа уже вытравлена. Я не знаю, кто я – крестьянин или крепостной какой-то, или барщина тут или колхоз. Я не понимаю. Я жду утра и иду работать, куда пошлют".

"Вытравленность души" оставшихся в коллективизированной деревне крестьян как будто передается автору биографического рассказа от отца и присутствует в его мировосприятии, несмотря на то, что он сумел избежать крестьянской участи. По всей видимости, ценности новой культуры не смогли заполнить "пустого дома" бывших крестьян, не дали им ощущения полноценного существования. В определенном смысле все они оказываются людьми с "вытравленной душой".

### Логика жизни и логика идеологии

Следствием "вытравленности души", если рассматривать ее как отсутствие преемственности и эволюционной постепенности в формировании культуры советского общества, становится то, что ценности и понятия новой идеологии так и остаются "неживленными" в ткань повседневной крестьянской жизни. А здравомыслие и опора на жизненный опыт, присущие крестьянскому мировосприятию, со временем начинают теряться. И сегодня биографические повествования этих людей часто основаны на некоей смеси архаического крестьянского мировосприятия и идеологического языка советской эпохи – своего рода "котлованном" сознании, если воспользоваться художественным образом. Создается впечатление, что идеологические формулы существуют в их сознании как самостоятельная реальность, по сути не связанная с действительностью.

Разрыв между реалиями жизни и языком идеологических формул хорошо виден в биографическом интервью, взятом в августа 1990 г. у женщины 1913 года рождения (БФ, № 10). О своей жизни она рассказывает довольно скупое, почти без красок. Родители женщины были крестьянами, приезжавшими в город на заработки. До школьного возраста она в основном жила в деревне у бабушки, а затем – в небольшом городе с родителями. Окончила здесь восемь классов и "сразу пошла работать". С мужем познакомилась в райисполкоме, где они оба работали: она в качестве служащей, он – заместителем председателя райисполкома по сельскому хозяйству. Муж погиб во время войны при бомбежке райисполкома. У нее на руках осталось двое детей, которых она вырастила самостоятельно, получая на них лишь небольшую пенсию.

Основное внимание в рассказе женщина уделяет пережитым во время и после войны трудностям: "В войну я и наголодалась, и настрадалась, и дети у меня ходили и босые, и голые... Вся тяжесть была на моих плечах...". После войны она работала в отделе кадров железнодорожного депо, в библиотеке парткома, в библиотеке железнодорожного клуба. На вопрос о том, верующая ли она, отвечает: "Нет, я – член партии с 1945 года". Но причины вступления в партию никак не поясняет.

Несмотря на то, что эта женщина прожила тяжелую жизнь и не сделала профессиональной или партийной карьеры, ее сбивчивая и малограмотная речь имеет нравоучительный характер, она часто склонна судить о проблемах жизни общества в целом. Так, например, о причинах перестройки женщина говорит следующее: "Где-то мы после войны упустили. Во-первых, мы забрали всех крестьян на стройки...". Это рассуждение об общественных проблемах знаменательно неоднократным употреблением слова "мы", с помощью которого женщина (по формальным признакам далекая от властных структур) как бы идентифицирует себя с властью, принимающей решения на уровне страны. Единственным основанием для этого оказывается ее членство в партии. Идеологему о руководящей роли партии она применяет к себе без опосредований какой-либо должностью или общественной работой. Ее не смущают сложности совмещения этих рассуждений с реалиями собственной жизни. В повествовании женщины конкретная, реальная жизнь и коды советской идеологии находятся в разных плоскостях.

Рассказчица, несмотря на крестьянское происхождение, с детских лет жила в городе (у бабушки), училась в городской школе, которая, несомненно, сыграла свою роль в формировании ее мировосприятия. Ведь советские образовательные институты действительно можно назвать "третьим фронтом" (наряду с обороной и промышленностью), который создавал "подготовленных людей", обладающих "новой культурой в области чувств" [12, с. 98]. Во всяком случае, она представляется более оторванным от крестьянской культуры человеком, чем авторы уже рассмотренных нарративов.

Но и по окончании школы "идеологические" влияния в жизни этой женщины играли заметную роль. Она всегда работала в идеологических (по советским меркам) структурах, хотя и в качестве мелкой служащей. И муж ее в свое время занимал идеологическую должность – заместителя председателя исполкома по сельскому хозяйству. Можно предположить, что и вступление героини в партию после войны определилось тем обстоятельством, что она оказалась вдовой погибшего зампреда исполкома. Так что условий для индоктринации ее сознания было достаточно.

Интерес представляет прежде всего то, что эта женщина не дает объяснений своей приверженности советским идеологическим стандартам. Возможно, потому что их нельзя дать, не обнаружив приверженности партийным привилегиям. Трудно решить, сознательно ли женщина умалчивает об этом, привыкнув к "двойной бухгалтерии" идеологических стандартов, или по привычке, проявляющейся бессознательно. В любом случае тот факт, что в ее рассказе пропущены связующие звенья между реалиями жизни и идеологическими обобщениями, указывает на разрыв между ними. Жизнь для нее обладает своим языком и логикой, а идеология – своими, и они почти не пересекаются в этом биографическом рассказе.

### **Противоречия биографического дискурса советской эпохи**

Параллельное существование логики жизни и логики идеологии, проиллюстрированное предыдущим нарративом, не исчерпывает проблему особенностей биографического дискурса советской эпохи. В ряде автобиографий приверженность советским идеологическим позициям не только существует в отрыве от описываемых реалий, но и вступает с ними в явное противоречие. Это происходит, когда, например, рассказывая о тяготах и лишениях разоренной крестьянской жизни, человек не только не осуждает произошедшее, а напротив, оправдывает его, не замечая нелогичности своего рассказа и не пытаясь пояснить возникающее противоречие. Яркая тому иллюстрация – промелькнувшее в телевизионной передаче высказывание мужчины пожилого возраста, к которому в толпе обратился журналист с вопросом, когда ему лучше жилось. Ответ был: "При Сталине". Следующий вопрос журналиста: "А что, вы или кто-нибудь из ваших родственников не пострадали тогда?" Ответ: "Пострадали... Сидели... А как же...".

Объяснить ответы случайно опрошенного малограмотного человека можно, например, неумением додумывать высказываемые суждения до конца, неожиданностью вопросов, бравадой и т. п. Но, как свидетельствуют биографические нарративы, такого рода инфантильность оценочного сознания (до некоторой степени понятная и объяснимая у малообразованных) харак-

терна и для людей, получивших высшее образование и в силу этого, казалось бы, имеющих возможность додумывать и обосновывать свои оценки. (Тем более, когда они пишут биографический текст, то есть их рефлексия имеет организованный характер.) Ведь речь идет не об убеждениях человека, который вполне может быть привержен ценностям советской эпохи, а о нелогичности его рассказа. Вот как эти диссонансы проявляются в биографическом нарративе женщины 1922 года рождения, имеющей высшее образование и профессию учителя (автобиография написана в 1991 г.; БФ, № 2). Повествование она начинает с истории своего прадеда – крепостного крестьянина, прослужившего 25 лет солдатом. После службы помещик дал ему вольную и участок леса на берегу реки. Прадед расчистил землю, построил дом и женился. Так возникла деревня, где в 1922 г. родилась автор биографического рассказа. Она с любовью описывает свое детство, родителей, крестьянскую жизнь, первого учителя, который "привил любовь к книге, к знаниям и к учительской профессии". В целом эту пору своей жизни женщина вспоминает детально и подробно.

Послереволюционная действительность входит в ее повествование рассказом об организации колхоза в 1934 г. и сдаче имущества в колхозную собственность. Вот описание этого важного события крестьянской жизни: "Пришел папа с собрания и сказал, что теперь будет колхоз. Две деревни (Бороково и Жабкино) объединились в один колхоз. Утром начали сдавать в колхозную собственность имущество. Мы сдали лошадь, сбрую для лошади, телегу, дровни, санки, плуги, борону, сарай, гумно, корову, так как у нас имелось две коровы. Мама плакала, но в дальнейшем в колхозе работать в тот период было хорошо. Все люди трудились как для себя. Колхоз маленький и был порядок. Председатель и бригадир работали вместе со всеми, как и раньше в единоличном хозяйстве, другого начальства не было".

То, что эта женщина рачительно, по-крестьянски, помнит и перечисляет все, что сдала ее семья в колхозную собственность почти 60 лет назад, подтверждает, каким сильным переживанием для крестьянина было обобществление хозяйства в период коллективизации. Сложность этих переживаний не исчезает и у человека, впоследствии оторвавшегося от крестьянской жизни. Тем не менее, подытоживая это событие, она высказывается в пользу колхоза, хотя и такого колхоза, каким он был "в тот период", то есть близкого к "единоличному хозяйству". Однако критика последующего развития колхоза, которую можно предчувствовать в данном описании, так и не появится в ее рассказе.

В 1936 г. от тяжелой болезни умирает отец рассказчицы. Мать остается одна с пятью детьми. Описывает свою жизнь в этот период она следующим образом: "Пенсии не было нам. Колхозникам не давали пенсию. Льгот тоже не было. Платили большой налог, страховку, заем, самообложение. Выполнили 360 литров молока, 40 килограммов мяса, 50 яиц, шерсть, кожу с поросенка и с овец. Корову подоим и несем на сборный пункт за 3 километра молоко. Носили я и сестра. За ведро молока дадут литра два обрату (одна сыворожка). Жирность молока запишут маленькую. Вот и носили не 360 литров, а 400 или больше. Держит мама овец, а осенью весь молодежь отдать надо.

Часть на выполнение мяса, а другую повезет в Ленинград, чтобы привезти денег на уплату налога и других платежей."

Казалось бы, за описанием тяжелой крестьянской жизни в колхозе должна последовать критика этой системы хозяйствования. Но автор делает противоположный вывод, по сути оправдывая существовавший порядок: "Тяжело жилось, но мы не батрачили, не нищенствовали. Все люди в колхозе были довольны, никто никуда не уезжал. У нас в период коллективизации не раскулачивали никого. Наша семья до коллективизации считалась середняками, так как имели две коровы, а кулаков не было. Были кулаки в некоторых деревнях. Нажили богатства во время революции, так как ходили грабить помещичьи усадьбы и разбогатели".

Итог этого периода крестьянской жизни своей семьи женщина подводит совсем уж противоречивым рассуждением, в котором используемая идеология вступает в противоречие с приводимыми фактами: "Вспоминая свою жизнь, благодарю Советскую власть, Коммунистическую партию, колхоз. Только колхоз спас нашу семью от гибели. Помощи материальной не было, но мама и мы работали там, где могли. Мама на полеводстве работала, а одновременно кормила и доила коров (их было 8 в колхозе), давали ей домой лен трепать ночью. Ходили на работу я и сестра в летний период...".

Нелогичностей такого рода довольно много в той части биографического рассказа, где описывается довоенная жизнь семьи автора. Здесь все время сталкиваются естественная логика крестьянской жизни, которую эта женщина любит и знает, и идеологические формулы советской эпохи, которыми она пользуется при оценке преобразований крестьянской жизни. Совместить эти две линии повествования – с одной стороны, любовь и знание крестьянской жизни, с другой – идеологемы, привитые советской эпохой, – она оказывается не в состоянии.

Симптоматичным является и то, что чем дальше автор биографии уходит от своего крестьянского прошлого, тем менее противоречивым становится ее рассказ. Реалии крестьянской жизни остаются позади и уже не противостоят идеологическому языку советской эпохи, которым автор описывает последующую жизнь. Это касается и военного периода, когда она стала "агентурной разведчицей" в партизанском отряде: "беспросветные черные дни оккупации", "комсомольский билет на груди, в который вложены были портреты Сталина и всех вождей", "долгожданная встреча с родной Красной Армией, с родными советскими людьми"; и того, что происходило в ее жизни после войны: "окончила после войны педагогическое училище, а потом педагогический институт"; "была назначена учительницей"; "вышла замуж за бывшего партизана" (называет фамилию мужа); "в партию вступила по велеению сердца в 1947 г., не ради карьеры"; "занималась общественной работой" (секретарь комсомольской организации, секретарь партийной организации, пропагандист в партийной организации совхоза, делегат партийных конференций).

В описании послевоенной жизни этой женщины, которое значительно короче описания предыдущих периодов, фигурируют и подчеркиваются только те факты и события, которые считались значимыми с точки зрения идеологических стандартов советского времени. Личная жизнь и ее ценности

почти отсутствуют, вытеснены этими стандартами. Она ничего не говорит о своем муже (кроме того, что он "бывший партизан"), о детях (кроме жалобы, что сейчас они ей не пишут). Описываемые чувства также связаны лишь со "значимыми" событиями: "плакала, когда умер Сталин", "в годы оккупации два раза Сталина во сне видела", "слезы радости при встрече с Красной армией" в конце войны. Идеологема "общественное превыше личного" зримо присутствует в ее рассказе.

Только в самом конце рассказа автор делает попытку вернуться к смыслам и оценкам своего крестьянского прошлого, когда с болью говорит об "искаленной мелиорацией и техникой природе вокруг", об "одиноких безжизненных домах в деревне", о запустении и одиночестве: "На месте, где когда-то я родилась, где была прекрасная маленькая деревня, основанная моим прадедом-солдатом, теперь ольховые кусты". Она задает вопрос, почему рухнули основы когда-то счастливой, по ее мнению, жизни? И в том, что она не знает, кому адресовать свои недоуменные вопросы и критику, опять проявляется противоречие. Она оказывается не в состоянии соединить реалии своей жизни и собственные оценочные суждения, находясь на позиции человека, преданного идеологии советской эпохи. Эта идеология побеждает и здравый смысл, присущий ей как человеку крестьянского происхождения, и способность к рефлексии, характерную для образованного человека.

### **Заключение**

Существует ряд способов интерпретации биографических нарративов. Применение интерпретативной схемы П. Рууса [13] приводит к выводу, что рассмотренные нарративы демонстрируют, как в базовом крестьянском габитусе адаптации и "выбора необходимости", адаптивном габитусе народных классов (то есть, по терминологии Рууса, ориентирующегося на П. Бурдьё, – мировосприятии людей крестьянского происхождения) появляются побочные элементы. Основу своеобразия составляет то, что "глубокий реализм" адаптивного габитуса [14, с. 66] размывается, и в нарративах обнаруживаются противоречия, свидетельствующие о неспособности человека совместить практическую логику своей жизни и логику идеологии, или, в терминах Рууса, логику жизни и логику поля (общества, культуры).

Каковы возможные интерпретации обнаруженных особенностей и трансформаций биографического дискурса? С точки зрения теории, их можно назвать своего рода непосредственным отражением нормы советского дискурса, результатом "политики нормализации" индивида [15, с. 137]. Адаптированный к советскому режиму человек не замечал (должен был не замечать и не замечал) противоречий между реалиями собственной жизни и пропагандируемыми идеологией ценностями, демонстрируя тем самым приверженность власти и свою "нормальность" как члена общества.

Подобного рода оказывается и объяснение с точки зрения защитных механизмов психики человека, на протяжении десятилетий подвергавшегося тотальному давлению идеологических стандартов. Отчасти с этих позиций Б. Беттельхейм объясняет деформации сознания в послевоенной Германии, указывая, что репрессивный режим способен довести разрушение личности взрослого человека до такой степени, при которой он получает возможность

не знать того, что ему вовсе не хочется знать [16, с. 98]. Другим объяснением может служить позиция П. Бурдье, считающего, что последовательные моменты практики защищены от логики хронологическим развитием и что в историях жизни логика воюет против хронологии [17, с. 125]. М. Полани в свою очередь утверждает, что “человек рационален только в той мере, в какой истинны концепции, к которым он привязан” [18, с. 165]. В любом случае в обнаруженных трансформациях советского биографического дискурса власть структурной мифологической схемы проявляется весьма отчетливо.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Ярская-Смирнова Е.Р.* Нарративный анализ в социологии // Социологический журнал. 1997. № 3.
2. *Thompson P.* The voice of the past. Oxford: Oxford University Press, 1978.
3. *Богин Г.И.* Субстанциональная сторона понимания текста. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1993.
4. *Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р.* “Делать знакомое неизвестным...”: Этнографический метод в социологии // Социологический журнал. 1998. № 1/2.
5. *Фукс-Хайнриц В.* Биографический метод // Биографический метод: история, методология и практика / Рос. акад наук, Ин-т социологии. М., 1994.
6. *Дейк Т.А. ван* Анализ новостей как дискурса // Дейк Т.А. ван Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989.
7. *Голофаст В.Б.* Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. 1995. № 1.
8. Революция в деревне. Ч. 2. Л.: ГИЗ, 1925.
9. *Рыбников Н.А.* Автобиографии рабочих и их изучение. Л.: ГИЗ, 1930.
10. *Лурия А.Р.* Об историческом развитии познавательных процессов. М.: Наука, 1974.
11. *Франк С.Л.* По ту сторону “правого” и “левого”: Статьи по социальной философии // Новый мир. 1990. № 4.
12. *Волков В.В.* Новая культура в области чувства: Как ликвидировали неграмотность в СССР // Человек. 1992. № 1.
13. *Руус П.* От фермы к офису: уверенность в себе и новый средний класс // Вопросы социологии. 1993. № 1/2.
14. *Бурдье П.* Социальное пространство и генезис “классов” // Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.
15. *Ушакин С.А.* После модернизма: язык власти или власть языка // Общественные науки и современность. 1996. № 5.
16. *Беттельхейм Б.* Просвещенное сердце // Человек. 1992. № 6.
17. *Бурдье П.* Начала. М.: Socio-Logos, 1994.
18. *Полани М.* Личностное знание: На пути к посткритической философии. М.: Прогресс, 1983.